



Елена АНДРЕЙЧИКОВА

— Сёмочка, давай местами меняться, я хочу сесть поближе к твоему отцу.

Семену все равно, где доедать жареную картошку. Он мечтает поскорее уйти в свою комнату, поближе к компьютеру, подальше от всех этих гадающих людей, впервые появившихся в доме и сразу обожающих папу. Два тощих коммерсанта, три упитанных чиновника, один жилистый безработный, две женщины Не-знаю-чьих-будут. Одна мама, моя, она не первый раз в доме, как вы понимаете, и одна подруга, второй раз, тоже с моей стороны. Семен молча пересаживается, Не-помню-как-зовут с заботливой улыбкой пододвигает его стул поближе к столу. Он медленно опускается справа от моего мужа Миши, боясь задеть его локтем. Как будто тот — антикварная ваза. Потом вскакивает, наливает себе вина, по красным щекам расплываются багровые пятна, и кричит, переходя на пниетный писк:

— С вашего позволения, Михаил Семенович, тост! — без паузы и без позволения продолжает, скорее всего, оправдывая свою поспешность значимостью госта.

Мужчины торопливо встают, Миша тоже, я почему-то не могу сегодня смотреть ему в глаза, даже не поворачиваю голову в его сторону. Я пока не привыкла, что теперь нежелательно каждому оппоненту все говорить в лоб. Сейчас нельзя жить в лоб. Дамы кивают хмельными головами. Выпиваю свою рюмку водки, в которой вода, до дна. Не забываю поморщиться.

Не-помню-как-зовут выходит из-за стола, подбегает ко мне, хватая за руку и размазывает слюни по моей кисти. Я еле сдерживаюсь, чтобы снова не поморщиться. Представляю,

НЕ СДЕРЖАЛАСЬ

как он отрезает, когда втянет носом этот запах. Я сегодня чистила три селедки, три луковички и две головки чеснока.

Что главное в селедке? Упругость ее просоленного тельца. В меру. Чтобы при раздевании не обрывалась кусками ее блестящая серая шкурка. Среднего размера и средней солености. Это тоже тактически важно. Пересоленная селедка — досадное недоразумение. Когда рюмка водки уже опрокинута, огонек побежал по внутренним органам, рука с вилок тянется к идеальной закуске, чуть отодвигая кольца лука. Тянется эта рука в ожидании счастья, берет кусочек селедки, тот, что ближе к голове, пожирнее, с пузиком, — а там шок! Там пересоленная гадость!

Я такого допустить не могу. Правильная селедка — уже полпобеды над властью имущими. Нет, победить буквально я не намереваюсь. Исключительно в гастрономическом смысле. Тоже ведь люди. Тоже уважают ледяные рюмки, которые я храню в морозильнике до прихода гостей.

Есть сейчас не хочется, пить лишь бы с кем я не пью — тут я надменна и даже брезглива, завтра с утра попробую селедку. Если останется.

После меня тостующий бежит целовать руки моей маме. Обе. А потом и к щеке прижимается.

— Александра Васильевна, как я рад знакомству! Наслышан-наслышан!

Мать моя тоже не промах. Копченую скумбрию для банкета взяла на себя. Тоже, думаю, отмыть руки толком не успела.

Четвертый час бесперебойно улыбаюсь. Женщина справа от меня из Не-знаю-чьих-будет смотрит на меня как на диковинную зверюшку и засыпает вопросами:

— Елизавета... как вас по отчеству?

— Можно просто Лиза.

— Лизонька, мне муж говорил, вы писательница. А как найти ваши книги?

— По фамилии ищите.

— Я в следующий раз можно принесу, подпишите?

— Конечно-конечно.

Еще как конечно! В последний раз с не-привычки чужих людей согласилась кормить дома. Говорят обо всем. Разбирают на супные наборы кандидатов, один из которых мой Миша. Мишу хвалят. Его, конечно, есть за что хвалить в деловом прошлом. Но гости не особо разбираются. Хвалят на будущее.

Я молчу. Мне можно. Я же прозаик, я пишу, а не говорю.

Трезвому за хмельным столом тяжело бывает. Особенно с запахами трудно бороться. Справа пахнет чужью, слева потом, таким сладким приторным потом, который источают люди, когда хотят понравиться. И только где-то напротив слегка веет надеждой. Выхожу на балкон, закуриваю. Представляю, что пахнет морем. Запах моря, даже воображаемый, меня всегда успокаивает. Что у этого города не отнять, это если моря не видно, оно точно рядом. И всегда легко представить запах моря. Запах покоя.

Миша присоединяется.

— Как ты, Лиза? Нервничаете?

— Нервничает, что водки мало.

— На тебя не хватит?

— Я тут не пью.

Он кивает головой, мол, знаю, знаю.

Поцеловал.

— Тебя когда-нибудь губернатор в губы целовал?

— Губы все те же. Не зазнавайся.

— Постараюсь.

— Старайся усердней. Не подведи.

— Тебя — не могу подвести. Да и то, если назначат.

Возвращаемся за стол, а гости восприняли наш уход на покурить как приглашение разойтись. Наконец. Дошло. Уже на пороге женщина, жарко интересующаяся моей прозой, сует мне какой-то лист А4. Ага, чье-то резюме. Что-то за последнюю неделю многие перешли на шепот, особенно когда такие листики мне подкидывают, и она мне шепчет, слова чуть скомканы от количества спиртного и качества материнской заботы:

— Сын мой, отличник, большой опыт, очень способный, очень трудолюбивый, во многих

фирмах работал, возьмите, имейте в виду.

Ночью мне снится сон. Я не сразу понимаю, что сон, потому как объятия осторожные, нежные, но настойчивые. Когда я собираюсь поворочать, чего муж будит среди ночи после моего отчаянного гостеприимства, оказывается, что не муж.

...Колочные бакенбарды касаются моих скул, плотная грубая шерсть сюртука щекает грудь. Почему-то пахнет свечами, не понимаю, наяву или во сне, у меня иногда это смешивается.

— Любимая! Лизавета Ксаверьевна!

Сам Поэт ко мне во снах пожаловал. Отчество резануло по ушам, но жаркие губы сдерживают желание возмутиться. Хохочу. Спутал, заодно спутал века. Сообразив во сне, что я во сне, решаю расслабиться. Не сдерживаюсь. Шутка ли! Целоваться с Поэтом, да в воображении, следовательно, на законных основаниях!

Когда мы после отдыхаем с Поэтом на моей половине постели, я доверительно ему шепчу:

— Не факт! Могут назначить другого. Да и скажу вам по секрету, раз уж мы так близки, Александр Сергеевич, хоть бы и назначили другого. Мне же надо жить в лоб.

Просыпаюсь от трелей телефона. Пробегаю глазами по сообщениям. Все как всегда, вернее, всегда на этой неделе: одни поздравляют, другие просят, третьи советуют, четвертые поддерживают. Надо выключить звук на мобильном. Нервы давно на беззвучном режиме.

Иду на кухню, открываю холодильник. Полбутылки водки, две селедки. Как могли не доесть их? Ни черта не понимают в нормальной еде. Выпью. И закушу. Выхожу на балкон. Поднимаю глаза в небо. Небо все то же, ему ничей статус не важен: голубое, легкое, прозрачное. А кудрявое облако надо мной очень уж похоже на одного сукиного сына, который спать всю ночь не давал. Подмигивает. Я отвечаю ему взаимностью.

Беру ледяную рюмку, которую еще вчера для себя в морозильнике за пельменями припрятала. Насаживаю кусок селедки на вилку. Выпиваю до дна. Жую закуску. Мысленно возмущаюсь вкусу — оказалась пересоленной. Говорю как бы себе, но скорее кому-то сверху, возможно, Пушкину:

— Ну и говно!

Поморщилась. Не сдержалась. ♦



Григорий БАРАЦ

1. НОЧЬ

Небо над крышей нашего трехэтажного дома было прямоугольным. Окаймляя его желоба ливневок трех флигелей, выстроенных буквой «П». Двери квартир внутридворовых флигелей выходили на открытые галереи, что вызывало зависть пацанов фасадного флигеля. Знойными летними вечерами галереи заполнялись раскладушками, на которых величалась до полуночи вся дворовая детвора. Ночью, когда засыпали предки, можно было смотаться хоть до рассвета. Первыми засыпали Нечаевы — семья Толясика, так называли в доме моего липшего кореша Толика Нечаева. Нечаевым завидовал весь третий этаж. Их квартира была единственной на этаже «собственной». Все остальные квартиры были коммунальными.

Из моей квартиры, замыкавшей галерею, еще долго слышались приглушенные звуки пианино и швейной машинки. Этот дуэт исполняли мама, служащая концертмейстером в театре, и бабушка на ножном «Зингере», одевавшая местных дам в лифчики и бюстгалтеры. Как умудрялись спать под этот аккомпанемент мои папа и дед, мы гадали с

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ТОЛЯСИКА

Памяти моего друга детства капитана дальнего плавания
Анатолія Викторовича Нечаева

Толясиком до полуночи, пока все не стихало. Наши раскладушки стояли рядом, там, где галерея обрывалась крутой металлической лестницей. Поворочавшись и прислушиваясь, чтобы убедиться, что все спят, и никто за нами не уяжется, спустились во двор.

Свет тусклых фонарей, висящих над булыжной мостовой, едва проникал меж густой листвы софоры. Мелкие бело-желтые ее цветочки, похожие на акацию, густо засыпали базальтовые плиты, уложенные по четыре в ряд посреди тротуара. Плиты, впитавшие в себя все солнце жаркого августовского дня, не успели остыть.

От Треугольного до Щепного переулка по Базарной двести шагов, можно не проверять, еще пятьдесят до Тираспольской — границы центра и Молдаванки. Здесь было еще темнее. Местные пограничные пацаны с обеих сторон били из рогаток по лампочкам. На этом пересечении шести дорог, Малой и Большой Арнаутских, Тираспольской, Прохоровской, Колонтаевской и Старопортофранковской, где пересаживался с трамвая на трамвай рабочий люд с Молдаванки, Пересыпи, Черемушек и других одесских окраин, грех было не сделать торговый проходняк. Здесь смешались запахи кваса и пива, тарани, чебуреков, бочковой квашеной капусты и полевых помидор, сливы-венгерки и дыни-цыганочки, нежинских огурчиков и херсонского арбуза.

Оживала торговая только утром, когда полуторка, тащившая за собой гирлянду бочек

с пивом, оставаяла крайнюю на углу, у дома, где висел парфюмерный автомат, который за пятнадцать копеек, вброшенных в щелку, несколько раз пшикал в лицо «Шипром». Дом этот принадлежал одному из пивных королей Одессы Рудольфу Кемпе. Жену его, чей профиль изображен на медальонах под крышей, звали Матильдой. По иронии судьбы, так же звали продавщицу бочкового пива. Она была единственной постоянной торговкой на улице, остальные — сезонные. Потому и командовала ими, как дедаль салагами — добродушно-покровительственно.

Ящики с развесным товаром находились внутри клетки из стальных прутьев толщиной в палец. Вес клетки был внушительными, но дница они почему-то не имели.

Сердца наши колотились так, что, казалось, разбудят спящую улицу. Мы впервые шли на дело, заранее планируя и готовясь к нему.

— Пуляй первым, — шепотом предложил я Толясику. Он был признанным лучшим стрелком из рогатки нашего хутора.

Первым выстрелом Толясик попал в металлический абажур над клетью с полосатыми астраханцами. Металл абажура словно вскрикнул от неожиданности.

Свет в окне участкового Фараоныча, который жил в доме напротив, не зажегся.

— Пошли, только тихо, — и Толясик, взяв

меня за руку, нырнул в темноту.

Несколько дней мы с Толясиком разрабатывали план ограбления. Недалеко от клетки с арбузами стояла прямоугольная урна из толстых листов железа. Второй приспособой в деле была оглобля. Она лежала за задней стенкой клетки, на мостовой вдоль бордюра. Принадлежала биндюжнику Ицыку, пожилому еврею-инвалиду.

Почти бесшумно, одним махом, мы подтащили урну к вожделенной клетки. Оглобля, опираясь об урну, создала рычаг.

На удивление, арбузы не катались изпод нее, как мы рассчитывали.

Со второй попытки клеть приподнялась чуть выше, и арбузы, словно радуясь освобождению, выкатились на тротуар.

— Два потянешь? — спросил Толясик, нагружая добычу в прихваченные авоськи. Мы закинули связанные авоськи на плечи. Толясик определил оптимальный путь продвижения к Дегтярной улице, где

жила его первая любовь — Наташка Жукова.

Под окном квартиры на первом этаже был палисадник. Окно открыто. Как только арбузы уткнулись в низ оконной рамы, свет зажегся. В окне показалась воздушная фигурка белокурой принцессы в белой, до колен доходящей шелковой маечке. Она присела на подоконник и, протирая кулачком заспанные глаза, зевнула:

— Ты сумасшедший.